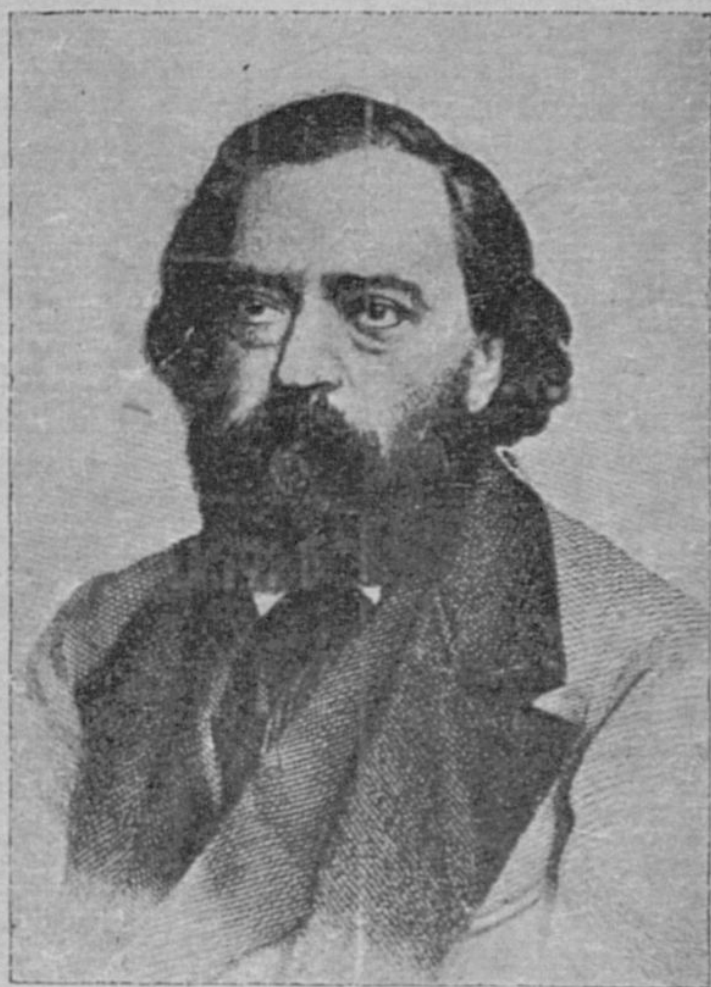


17.140.3.231/383

Ю. ВЕРХОВСКИЙ
Н. П. ОГАРЕВ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 383

АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“

МОСКВА—1928

Вышедшие книжки Библиотеки „Огонек“

ШАРЛЬ ЛУИ ФИЛИПП
ШАРЛЬ БЛАНШАР

ПОВЕСТЬ



■■■■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 361
АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

М. СЕРВАНТЕС
ДОН-КИХОТ



■■■■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 371
АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

РОДА РОДА
ЖЕЛЧЬ и ЯД

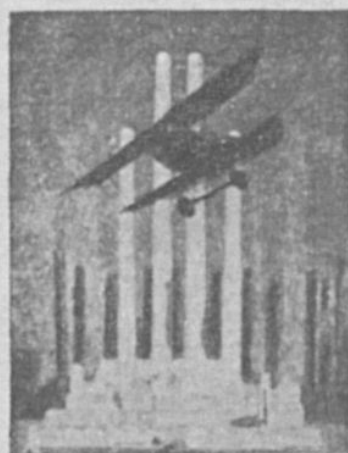
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ



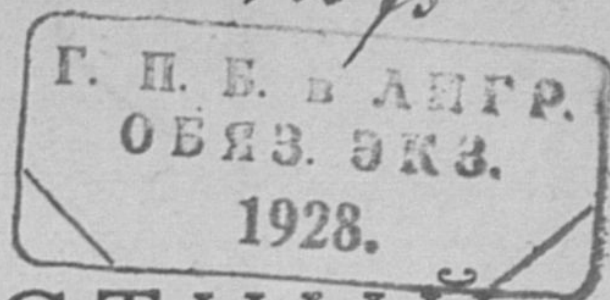
■■■■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 354
АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

СЕРЕБРЯНАЯ УТКА



■■■■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 227
АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1927



НЕИЗВЕСТНЫЙ ОГАРЕВ

Со вступительной статьей
Ю. ВЕРХОВСКОГО

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“
Москва — 1928

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Мосполиграф.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОГАРЕВ

I

«Однажды Огарев после lunch'a сказал Герцену при мне: «А знаешь, Александр, «Полярная Звезда», «Былое и Думы» — все это хорошо, но это не то, что нужно. Это не беседа со своими, нам бы нужно издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз, мы бы излагали свои взгляды, свои желания для России и проч.». Герцен был в восторге от этой мысли». — Так Н. А. Огарева-Тучкова начинает в своих Воспоминаниях рассказ об основании «Колокола», устанавливая факт инициативы Огарева в этом многозначительном деле.

Эта черта активности, личного почина не только не была чужда Огареву, но проявлялась в нем очень существенно, хотя и противоречит, казалось бы, не только обычным его характеристикам, но и собственной его самооценке. Об этой черте как бы только проговариваются и он сам, и его друзья.

В молодые годы Огарев писал первой жене своей: «Гамлет! Ты не читала, не вникала в Гамлета, — ведь

это я, чисто я. Это тот человек, который способен наплевать себе в лицо за слабость своей души и не способен преодолеть этой слабости и сделать что-нибудь». И ей же незадолго до этого он писал: «У меня есть своя сила, сила контрактивная, я сосредоточен в себе, в моей внутренней жизни, и эта жизнь сильна; я себя сознаю ясно».

Колебания между двумя крайними точками — отрицанием в себе всякой воли и самоутверждением — идут пока в плане «внутренней жизни». Между ними — попытка выбраться из противоречия: «Я бесхарактерен, но, право, кажется, не столько, как все думают»; «Не одна же малодушная тоска живет во мне, но и все светлые гуманные чувства». «Как все люди, не имеющие «гордого чела и непреклонной воли», — пишет Огарев несколько позже своим друзьям, — я приношу в поступки нерешительность, медленность, или младенческое своеволие, и не обретаю в себе сил стать выше этого. Но если нет непреклонности воли, есть непреклонность сознания. Это есть выход, перед которым должны пасть нерешительность и своеволие»...

II

Итак, непреклонность сознания — таково первое следствие этой внутренней работы над собой. Но когда Огарев писал эти слова, он уже переходил на почву жизненной действительности и начинал поворачивать по-своему собственную судьбу. Правда, это стоило ему чрезвычайных усилий; не даром он определил себя такими словами: «Мой враг — не прошедшее,

не будущее, но настоящее, в котором я не умею решаться». Но когда он решался, тогда поражал твердостью, последовательностью и настойчивостью, с какой доводил дело до конца. Так было в ту раннюю пору, о которой сейчас говорим, при развязке крайне сложных отношений Огарева с его первой женой, этой, по слову самого Огарева, «драмы мучительной, где много сгубилось жизни и жизней». «А он может быть силен», свидетельствует Сатин: «В самом этом унижении, перенесенном им добровольно для восстановления женщины, он явил силу огромную»...

В итоге и сам Огарев скоро осознал себя по-иному: «Ich bin nüchtern geworden», говорит он (1846): «Я не умею перевести этого немецкого выражения. Это не сухость сердца, но состояние, в котором чувствуешь реальность во всем, в мысли, как и в привязанности, и в котором опыт становится необходимым условием жизни». «Мне надоело все носить внутри, мне нужен поступок!» восклицает он в письме к Герцену. На реалистический путь опыта стал он тогда же и в более широкой жизненной сфере: «Человек реалитет и хочет реалитета. Да к чему же все это дано, эта жажда истины, эта жажда любви и блаженства? Или желание само себе награда? Нет! Покорнейший слуга. Дайте мне прекрасную действительность!» Уже тогда он, недавний идеалист, начинает пересмотр самых основ, приходит к радикальным решениям, предлагает людям «из сознания уже развитого и любви уже сознанной

создать свой мир. Вследствие общественного сознания и любви политическое положение общества должно возбуждать участие каждого и быть делом каждого. Каждый внесет свое. Мысль ли Фурье или другое что осуществится — не знаю; но знаю то, что современный человек необходимо привязан к социальному вопросу. Разумное, свободное общество — вот задача, которая разрешится в будущем. Все будут работать около этой задачи и только все решат ее». Переходя от рассуждений к делу, Огарев обратился к насущной задаче своего времени — к борьбе с крепостным правом. Толчки были даны «реалитетом». «Сейчас был у обедни, — рассказывает он, — духота страшная. Когда я пришел, около меня составилось пустое место. Страшно мне стало; даже молиться вместе со мною не смеют, и я один должен был молиться, униженный своим временным величием. Люди не хотят взять меня в братья. Я отчужден от них». Решение было принято — и преодолены все препятствия, которых тогда было не мало, — начиная даже с некоторого противодействия жены: «Неужели же ты мне напишешь: нет? — обращается он к ней. — Этого быть не может. Надо, надо кончить это дело... Неужели же я должен отказаться от своих планов, благородных, гуманных, честных, для того, чтобы развлекаться всю жизнь?» Худо ли, хорошо ли, но, как умел, Огарев довел дело до конца, освободил белоомутских крестьян.

III

Путем последовательной внутренней работы он достигает цели, которую сам же определил, становится

постепенно «тем спокойным духовным существом, сохраняющим в несимпатичней жизни глубокую симпатию с самим собой, с миром своего чувства, сознания и поступков». Анненков, как бы по инерции, выдвигает его «созерцательность» и бесхарактерность, но освещает их совсем особым светом. «Созерцательность и идеализм его,— говорит он,— питались, однако, совсем не мечтаниями и абстракциями: он доходил с помощью их до такой свободы представления жизни, до такого радикально-свободного понимания ее условий, требований и ее порядков, до такого отрицания основ и положений, считающихся необходимыми для существования общества и поддержания цивилизации, что изумляли самых отважных политических и социальных критиков своего времени». Что же до приложения таких воззрений к делу, то Анненков так характеризует Огарева: «Всеми признанная и распрославленная слабость его характера не мешала ему упорно настаивать на принятых решениях и достигать своих целей... Он принадлежал к числу тех бессильных людей, которые способны управлять весьма крупными характерами, наделенными в значительной степени волей и решительностью, что доказывается и несомненным его влиянием на своего друга Герцена *). Как многие из этого типа слабых натур, одаренных качествами обаятельной личности, он был полным господином не толь-

*) Разумеется, не следует упускать из виду, что, естественно, и сам Огарев испытывал на себе посторонние влияния, например,—сильной личности Нечаева.

ко самого себя, но и тех, кто вступал с ним в близкие сношения». В другом месте Анненков называет влияние Огарева на Герцена «неоспоримым» и «очень сильным».

«Обаяние» Огарева, создавшее среди близких некий «культ» его личности, «о котором само божество и не догадывалось, продолжая жить по влечениям своей природы и вызывая подчас негодование у своих поклонников», — это обаяние смолоду горячо сказалось в Герцене. В минуту увлечения он так обращается к жене друга: «Как необъятно велик твой Николай! Я готов не токмо стать с ним рядом, но подчиниться его благородной душе, только его». В позднейшую пору Герцен спокойно признается: «Люблю его более всего, люблю просто, как его, со всеми недостатками: в его душе нет уголка, где бы не было симпатии с моей душой; мы сделаны из одной массы, но в разных формах, с разной кристаллизацией». А сам Огарев подчас довольно простодушно удивлялся, за что его так любят, и всегда был готов на прямые жертвы для любящих его и действительно приносил эти жертвы, и тут на деле последовательный до конца, а между тем, сосредоточенный и цельный, шел своей дорогой. Как в молодом пылу, так и в зрелые годы своей эмигрантской деятельности «он попрежнему нисколько не боялся последних мер, последних шагов в принятом направлении, и не потому, как это у многих случалось, что ему нечего было терять на свете, а потому, что они казались ему совершенно естественны, как вывод из данной темы».

IV

Сопоставляя Герцена и Огарева, первый биограф обоих друзей отмечает, что «Герцен не лишен был чувства осторожности, способности к расчету и практическому соображению нужд и польз текущей минуты, чего совсем не знал его друг, живший в уединенной области радикального мышления». Последними словами он как бы закрепляет за Огаревым традиционное положение о его отвлеченности, неспособности на конкретное и практическое действие; а между тем, почти непосредственно вслед за этим утверждением должен признать, что помянутые им «последние шаги в принятом направлении» делались Огаревым не только в принципиальных высказываниях, но и в практическом осуществлении поставленных принципов: «Вопрос об успехе или неуспехе предприятия, о серьезности или взбаломощности его (!), о моральных его свойствах не составлял существенного дела в глазах Огарева: если стечение обстоятельств ставило на очередь какую-нибудь новую, хотя бы и безумную, попытку, попытка эта имела право на ход, на помощь и на жертвы... Часто бывали слезы на глазах и в стихах его, но он никогда не плакал, так сказать, мозгом и головой».

В 1844 году друзьям Огарева казался не только крайне радикальным, но и совершенно непонятным поступок его, когда он принял к себе изменившую ему жену и хотел признать ребенка, которого она ожидала (ребенок родился мертвым). Это — в плоскости моральной. В широкой области революционно-политической

не испугался Огарев «последних мер» и «последних шагов», когда в 1868 году был поднят вопрос о передаче капитала, доставленного Герцену из России на дело русской революции, в руки Бакунина и Нечаева: Герцен не соглашался, сумма была передана по настоянию Огарева. Немудрено, что Анненков перед этим фактом останавливается в недоумении. Думается, что не только «страха ради иудейска» ничего, кроме безусловно и безоговорочно отрицательной оценки, не высказывает Анненков и по поводу Огарева-журналиста; между тем, и тут он был весь до конца в действии и делал решительные последние шаги, — как умел и как понимал их, отдавая все что мог — свое слово писателя — на служение тому, что признал истиной.

А в исходной точке было то, что он сказал Н. Х. Кетчеру: «Кровью сердца покупается истина, барон. Не противоречь, потому что лгать станешь. Что сделает тот, кто насквозь прочувствует всю скорбь наследного достояния, а не труда? Он пойдет в пролетарии, барон. Замотай это себе на память, потому что я не шучу».

V

1 июля 1857 года вышел «Колокол» — прибавочные листы к «Полярной Звезде» — с эпиграфом: «Vivos voco!» Вышедший лист 1-й открывается поэтическим

предисловием Огарева, присоединившего свой голос к одинокому голосу друга:

Теперь юней, сильнее он...
Звучит, раскачиваясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока — спугнув ночные сны —
Из колыбельной тишины
Россия бодро не воспрянет
И крепко на ноги не станет,
И непорывисто смела —
Начнет торжественно и стройно,
С сознанием доблести спокойной,
Звонить во все колокола *).

Этот бодрый боевой мотив повторяется далее и в прозаическом вступлении Герцена, и в письме к издателю Огарева. Герцен обращается ко всем «соотечественникам, деющим нашу любовь к России» и просит их «не только слушать наш «Колокол», но и самим звонить в него». Тот же призыв — в письме Огарева: «Звоните, соотечественники, звоните без устали, пока дозвонитесь до безобидного гражданского устройства».

Ряд статей Огарева, посвященных критике Положения 19 февраля, носит заглавие: «Новое крепостное право». К одной из статей его — «Еще об освобождении крестьян» — сделана им характерная выноска с обращением к славянофилам и западникам: «Как? У России в виду положительное дело, а вы расходитесь из-за сомнительных теорий? Стыдно!»

Не пассивностью и безразличием диктовались Огареву подобные мысли и призывы, а деятельным и го-

*) Перепечатано в сборнике „Ветвь“. М. 1917, стр. 220.

рячим желанием сплотить воедино как можно больше разрозненных сил на великую работу освобождения. И горячая речь его революционной публицистики вспыхивала порой в лирических его песнях и горела скрытым пламенем за скромными, часто как бы обыденными и несколько тусклыми картинами его поэм и стихотворных повестей. Одною из ярких вспышек было его предисловие к «Колоколу».

VI

Постоянная работа для детища его мысли — «Колокола», а также для «Полярной Звезды» и других изданий Герцена, не помешала Огареву задуматься над планом еще нового другого журнала. Им руководила смелая и новая мысль о прямом воздействии из своего далека не на подготовленного и часто даже заранее сочувственного читателя, а на широкие народные массы в России. И прежде всего эта его мысль обратилась на уже сплоченные группы людей, веками воспитанные в атмосфере протеста и борьбы, гонений и преследований — на старообрядцев, раскольников и сектантов, кстати, во множестве грамотных. Конечно, их сплотили устремления совсем другого порядка, глубоко чуждого революции; но враг был общий — и Огарев, верный своей идее объединения всех в одном порыве к освобождению, решил сделать попытку направить и эту силу, уже закаленную, к единой цели. К ней он присоединял недовольных синодскою церковью. Другие мощные массы, к которым он обратился, были — крестьянство, солдаты и рабочие.

Он не остановился перед осуществлением своей задачи.

15 июля 1862 года вышел первый номер журнала Огарева при сотрудничестве И. В. Кельсиева: «Общее Вече». (Прибавление к «Колоколу»). В передовой статье «От издателей» было сказано: «В «Колоколе» еще не было слышно голоса притесненных старообрядческих и иных согласий, ни голоса притесненного духовенства господствующей церкви; не было слышно жалобы крестьян, прямо от себя, суду общему, обо всем, что они терпят от людей власть имущих; дела по вере оставались в стороне; убеждения так называемых низших сословий не высказывались»; в «Общем Вече» могут «иметь голос все страдания, жалобы, убеждения по вере и потребности житейские самого народа. На «Общее Вече» издатели приглашают всех: старообрядцев, людей торговых и мастеровых, крестьян и мещан, дворовых людей, солдат и разночинцев. Пусть присылают свои жалобы, пусть заявляют свои мысли, потребности, надежды и желания. Сами же от себя издатели будут писать и стараться раз'яснять настоящее положение России и нужды народные, так чтобы всякий неученый мог видеть, правду ли они говорят. Они уверены, что между русскими неучеными людьми, людьми низших сословий, уж, конечно, не меньше, а, может, найдется и больше людей даровитых, чем между самыми учеными, высшими сословиями. Цель издателей — соединить всех даровитых, честно благу народному преданных людей всех сословий и всех толков на одно «Общее Вече».

А вот как Огарев говорит в своем «Письме к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви»: «...Как скоро земля стала помещичьей и казенною, так и управление стало помещичье и казенное. Самый царь, признав законным помещичий и казенный захват земли у народа, отклонился от путей царя, земство соблюдающего, и вынужден быть царем дворянским и чиновничьим». И в заключение: «Вы видите, братья, что корень всего зла, корень всей розни сословной — поземельная собственность. Пока земля не будет признана достоянием народным, достоянием земства, достоянием общим, — царство любви и правды невозможно».

Попытка была неудачна. Журнал не имел успеха и выходил недолго. Но в каждом номере идут статьи Огарева; между ними: «Что надо делать народу» — о Земском Соборе. Но характерна решительность самого плана. Но показательна энергия, с какой этот план перешел в дело.

Все это опровергает ходячий взгляд на Огарева и говорит об Огареве-бойце. Неудача не задержала его деятельности. Он продолжал работу — и зачастую работу инициатора, зачинщика, вожака.

VII

Мы, конечно, и не пытаемся дать здесь оценку трудов Огарева *). В литературе о нем нет до сих пор сколько-нибудь полного исследования и собрания его сочинений, так что и в специальной работе трудно

*) Его философские опыты нами совсем оставлены в стороне.

было бы подвести какие-нибудь итоги. Но интенсивность и разносторонность его деятельности свидетельствуют об энергии и напоре, которым не воздают должного обычные его характеристики. Нужно отметить самое деятельное участие Огарева в работе по всем изданиям Герцена. Об этом, между прочим, свидетельствует сам Герцен в письме к Прудону (1860): «Должен вам сказать, что я и мой друг Огарев завалены работой; у нас на руках «Колокол», «Полярная звезда» и «Голоса из России», все это мы одни редактируем, а в «Колоколе» и «Полярной Звезде» основные статьи пишутся нами же».

К самостоятельным работам, которые предпринял Огарев, относятся, например, издания «Дум» Рыльева и «Потаенная Литература». Книга: «Думы. Стихотворения К. Рыльева. С предисловием Н. Огарева (издание Искандера). London. Trübner & co., 60 Paternoster Row. 1860» — открывается посвящением Н. Огарева: «Памяти Рыльева» *). Здесь чрезвычайно ценно признание Огаревым непосредственной связи своей и своих сверстников с Рылевым и декабристами. В предисловии, после характеристики декабрьского движения, Огарев переходит к его поэту: «Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя он и сказал о себе: «Я не поэт, а гражданин», но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и гражданина. Отрастно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности,

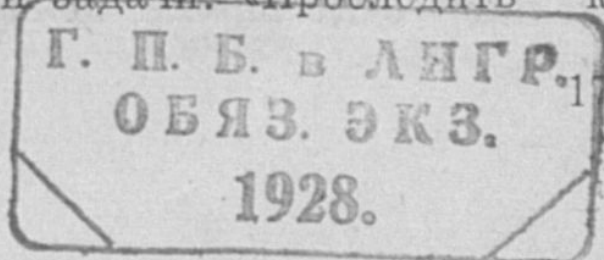
*) Перепечатано в сборн. „Ветвь“, стр. 218.

он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувство правды, права, чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию. В этом отличительная черта его направления, и те, которые помнят то время, конечно, скажут вместе с нами, что его влияние на тогдашнюю литературу было огромно. Пушкин видел в нем «залог огромного дарования, которое росло с каждым днем. Петля задушила это дарование. Но и теперь, перечитывая Рылеева, сравнивая его первые произведения с последующими, мы видим его сильное развитие... В «Думах» видна благородная личность автора, но не видно художника. Одно заметно — как стих постепенно совершенствуется... Влияние «Дум» на современников было именно то, какого Рылеев хотел, — чисто гражданское. Но в «Войнаровском» Рылеев становится действительно поэтом, несмотря на тот же субъективно-гражданский колорит целого... В «Наливайке» Рылеев становится мастером».

Такова, в главных чертах, эта оценка. В ней характерна и личная струя, свидетельствующая о той внутренней связи, которою запечатлено поэтическое «Посвящение», характерна и полная отчетливость объективного исторического взгляда. В заключительной части предисловия Огарев так высказывает мысль о необходимости издания Рылеева и литературы о декабристах — в России: «Пора правительству, после тридцатилетнего намордника, отдать истории ее достоинство и позволить безусловно печатать все о Рылееве и его сподвижниках».

VIII

Свое особенное значение имеет книга «Русская Потаенная Литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева. Лондон. Trübner & co. 60 Paternoster Row. 1861». Значение этой книги именно инициативное, зачинательное. Сам Огарев смотрел на нее, главным образом, как на первую попытку в новой широкой области, к которой он хотел привлечь внимание книжных людей, исследователей, издателей и передовых читательских кругов. В об'емистом предисловии он прежде всего развивает грандиозный план возможной и необходимой работы в этой области, а самой книгой дает образец. «Наступило время,—говорит он,—пополнить литературу цензурированную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негданно то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений». Начиная со стихотворного отдела, он говорит и о прозе — мемуарах и частных письмах, о прозе научной и отделе повестей, не пропущенных цензурой, который «также не может быть обширен; но записки и письма... дело великое». Следует определение основной задачи: «Проследить — как



к общему делу отнеслись таланты всех размеров, кто и как принимал участие, как известный взгляд на вещи, общая скорбь и общая надежда отзывались в даровитых писателях, как заставляли хвататься за перо и менее даровитых, но сердцем чистых людей, и как вынуждали подать голос таких, которые, в сущности, не были люди общему делу преданные, но подчинялись мнению бывшему в воздухе — это задача, достойная разработки».

В частности задача открываемого стихотворного отдела — попытка «проследить наше гражданское движение в стихотворной литературе». «Нам надо собрать сколько и насколько наша общественная жизнь вызвала в стихотворной литературе проклятий и надежд, кто бы ни выражал их — великий художник, или просто хороший человек, или человек, минутно поддавшийся общему движению».

IX

На дальнейших страницах этого Предисловия интересен ряд общих суждений Огарева по поводу этой «потопленной» поэзии. Преобладание лирики и господство лиризма даже в эпических и драматических «поползновениях» объясняется естественно: «Два чувства искали себе выражения вне цензуры — негодование на настоящее и надежда на будущее, отчаяние со всеми своими уродливыми уклонениями и упование со всею гоньбою за слишком общими неопределенностями и слишком неясными отдельными целями. Ирония — от шаловли-

вой шутки до едкой эпиграммы наголо, плач — от элегической тоски до пафоса страдания постоянно переменяются с ожиданием перемены в будущем вообще, освобождения славянских племен в особенности, и посреди горького смеха, унылых напевов и восторженных упований порою раздается клич на подвиг, вызов на дело... Все виды этой поэзии, от оды до эпиграммы, так приложимы к впечатлениям политической и гражданской жизни, что ими спешат воспользоваться не только записные стихотворцы, но и люди, которые взяли за стих на один раз, для одного отзвука на внезапное потрясение». Это, кажется, первая в нашей литературе общая характеристика политической лирики за первую треть XIX века.

Она связана с общим наблюдением в историческом плане, показывающим, что подъем нелегальной политической литературы вызывается резкими кровавыми эпохами и наступал у нас «с войною против старшего Наполеона и с войной против младшего Наполеона»: «то ли люди, опомнившись, спрашивают друг друга: из-за чего же мы дрались? Неужто из-за царя нас в три погибели гнущего, из-за порядка вещей, в среде которого дышать нельзя? Или, успокоившись от потери крови и достояний, люди просто хотят лучше устроить свою жизнь? Или общественная мысль, медленно копившаяся в мирное время, прорвала себе исход, при судорожном сотрясении войны и требует удовлетворения?» Однако сравнение двух десятилетий — после 1815 года и после 1854 — «при всей очевидности, что наше дело есть продолжение того дела»,

показывает существенные различия: «с двадцатых годов наши потребности уяснились, понимание выросло, а люди тех годов — нельзя не сознаться — были сильнее. Между их энергией и нашим пониманием, тяжело-весно легло николаевское царствование». И все-таки «задушить общественную мысль правительство не могло». Напротив она прогрессирует: «Только перемена правительства, только переворот вверху, без преобразования внизу, без самоустройства народа, — становились более и более чуждыми общему сознанию». Ограничимся этими выдержками. Вот каков тот общий фон, на каком Огарев развернул впервые «русскую потаенную литературу» перед широкими читательскими массами. Она глубоко просочилась в них. А теперь его книга — драгоценный материал для историка.

Х

«Потаенная» политическая поэзия была для Огарева отчасти еще живым, недавним преданием, а отчасти — и преимущественно — свежим личным воспоминанием. Что до его собственного творчества, то оно в своей лирической части почти целиком поглощено, по принятому выражению, чистой лирикой. Последняя была наиболее свойственна его подлинному, своеобразному, хотя и не широкому дарованию. Тем не менее, и в его лиризме заметно пробивается струя боевой, «гражданской» поэзии с ее пафосом, с ее горькой думой, или с ее напором и подъемом, с ее непосредственной действенностью.

Общественность воодушевляла его поэзию еще в раннюю пору только что слагавшегося самосознания. Первый такой подъем связан для него с неизгладимым впечатлением личного сближения с декабристами летом 1839 года на Кавказе. Он отмечен стихотворением, написанным около этого времени, и другим, более поздним. В первом, юношески восторженном, поэт говорит о «прекрасной семье» «страдальцев, полных чудного смиренья», и в заключение — о кн. А. И. Одоевском:

И ты, поэт с прекрасною душой,
С душою светлою, как луч денницы,
Был тут,—и я на ваш союз святой,
Далеко от людей докучливой станицы,
Смотрел, не знал, что делалось со мной—
И вот слеза пробилась на ресницы.

Второе, позднейшее поэтическое воспоминание о декабристах, написанное более твердою рукой, звучит в том же высоком строе:

О, еслиб мне пришлось прожить еще года,
До сгорбкой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомнил и тогда...
... Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.

Далее следуют стихи, искаженные в русских цензурных изданиях:

С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом,
Их серую шинель — одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом

Расскавам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья.

В заключение опять воспоминание об Одоевском,
заканчивающееся стихами:

И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье.

XI

Много раз приводился в нашей литературе рассказ Огарева в статье «Кавказские воды» *) о его встрече и дружбе с Одоевским, но почти не приводился, так сказать, комментарий Огарева к своему повествованию. Минуя слишком известные фактические подробности, остановимся немного на этих самопризнаниях. Они относятся к еще более позднему времени, чем только-что приведенное стихотворение. Но основной «пафос» все тот же, несмотря на критическое отношение к порыву юности: «Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... Это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я писал тогда много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости,

*) „Полярная Звезда“ за 1861 год, стр. 349 сл.

потому что иначе не могло быть... Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению, — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу».

И вот начинается их сближение. Глубоко сказывается первое, ничем не умеряемое влияние Одоевского на младшего друга. «С этой минуты мы стали близкими друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было слишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал в себе целостность убеждений, с которыми я могу теперь быть несогласен, но в которых все было искренно и величаво. Я смотрел на него с религиозитетом. Он был мой критик. Из всех моих тогдашних писаний, давно заброшенных, я всегда помню исключительно два стиха, потому что они ему понравились, и украл их сам у себя впоследствии». Таково было, непреодолимое тогда, влияние Одоевского-поэта.

Далее следует характерное признание: «Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении, и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок — бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы». Мы уже знаем, с какой радикальной решительностью и твердостью отошел вскоре Огарев от религии к социализму. Но тогда он мог на коленях «молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я».

В этом помысле была «окончательная цель». Поэтический итог связи Огарева с «расплетым поколением» — стихотворение «Декабристам» *).

ХII

Грустные картины русской современной ему действительности занимают существенное место в поэзии Огарева. Горькою любовью и тоской проникнуты мотивы деревенского быта и пейзажа:

Скучно мне да жалко
Сторону родную—

таков характерный мотив, сливающийся с такими изображениями, как «Деревенский сторож», «Кабак», «Изба», «Дедушка». Горькое чувство умеряется и любовью к крестьянскому быту, и грустным любованием природой. Протест, однако, затаен где-то на дне, как осадок. Заметно и порою желчно прорывается он в других картинах — в ряде изображений помещичьей, «господской» среды, образов и быта с нею связанных.

Иногда поэта гнетет чувство связи с прошедшим, с семейною стариной, с поколениями предков.

Мы слышим суровые приговоры и давнему, и недавнему прошлому. Что до настоящего, то, например, мы видим у Огарева зарисовки целой вереницы отдельных фигур, перебивающие лиризм поэта иронией, сарказмом и гневом («Соседка», «Барышня», «Бегство», «Кавказскому офицеру»). Позднее, оглядываясь на

*) „Ветвь“ стр. 219.

прошлое и подводя итог («Совершеннолетие»), поэт, «гордый и бескорыстный в деле счастья», предпочитает «горечь истин» малодушную «мечтательных отрад»; а этот мир, говорит он:

... мир, который мне, как гнусность ненавистен,
Мир угнетателей, обмана и рабов—
Его, пока я жив, подкапывать готов
С горячим чувством мести или права,
Не думая о том, что—гибель ждет иль слава.

XIII

Если типические бытовые картины и образы Огаревской лирики примыкают к изобразительному эпосу его поэм и повестей в стихах, то в другую сторону из его певучего лиризма вырастает одушевленный, поднимающийся до высокого пафоса монолог. Эта полоса публицистической лирики открывается известными «Монологами» (1844). Последний из них оканчивается, после обращения к Мефистофелю, такими энергичными стихами:

Теперь товарищ мне иной дух отрицанья —
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всеильный дух движенья и созданья,
Тот вечно юный, новый и живой.
В борьбе бесстрашен он, ему губить — отрада,
Из праха он все строит вновь и вновь,
И ненависть его к тому, что рушить надо,
Душе свята, так как свята любовь.

Эта стоящая любви святая ненависть продиктовала впоследствии Огареву такой, например, монолог, как его послание «Отступнице» (графине Ростопчиной),

при всей простоте местами приближающийся к типу античного иамба.

Как поэт действительности, Огарев, отталкиваясь от конкретного личного мотива, подымается к пафосу обобщающей мысли. Так, в пьесе «К Н.» («На наш союз святой и вольный»...); в другом обращении — уже в период эмиграции — «К ***» («Когда в цепи карет»...):

Я знаю: с родины попутный ветер пошел,
Заря проснулася над тишиною сел
... и воздух свежих сил
Так дышит верою в громадность человека...
И вижу я иные племена —
Тут—за морем... их жажда — кровь, война,
И хвастая знаменами свободы,
Хоть завтра же они скуют народы
И просвещение штыками решено,
И будет управлять с разбойничьей отвагой
Нахальный генерал бессмысленною шпагой.

С последними стихами можно сопоставить мрачное изображение дряхлеющей Франции шестидесятых годов («Франция») — при Наполеоне III. Интересно сопоставить эту пьесу со стихотворением-монологом «Упование. Год 1848» и его антитезой «1849 год» (см. ниже). Образ огромной силы встает перед нами в обращении к умершему польскому революционеру-эмигранту «Станиславу Ворцелю» (1857): «У гроба твоего в торжественной печали»...

Бодрою силой и подъемом дышат обращения «К юноше» (подражание монологу Полония), к пришедшему в «Колокол» письмо «Братское слово» («Сим

победиши»), к «Италии» (в годовщину рождения Данте), наконец, «Искандеру, 1858 г.» *) и «На новый год» — позднее, старческое, в конце 1876 г., обращение к Лаврову. Последние два обращения, как приведенное выше предисловие к «Колоколу», — уже не монологи; они похожи на боевую песню, на гимн — и возвращают нас в план по преимуществу музыкальной поэзии Огарева, возводя ее к «большому стилю» — в редкой для нашего поэта мажорной тональности.

«Героическая симфония Бетховена» с ее «торжественными звуками» вспоминалась поэту в ту же последнюю пору его жизни, когда он писал, вглядываясь в свое живое прошлое, последнее стихотворение, посвященное памяти декабриста Одоевского.

Показательны все эти личные обращения, возведенные до пафоса «высокой» гражданской поэзии. Показательна и эта цельность, так полно сказавшаяся в заключительном возвращении к юному истоку этого пафоса. В заключительных стихах симфонического эпилога — поминания Одоевского — Огарев говорит о себе:

А все же я теперь умру без муки
За дело вольное, которого искал.

XIV

К боевой публицистической, гражданской поэзии Огарева относятся стихи, не вошедшие ни в одно собрание его стихотворений, появившееся в России (1856,

*) „Ветвь“, стр. 217.

1859, 1863, 1904 гг.) и полностью у нас до сих пор не опубликованные. Предлагая теперь читателю ряд неизвестных у нас произведений Огарева, остановимся прежде всего на лирических. Они примыкают к отделу поэзии Огарева, только что нами охарактеризованному, и особенно убедительно подтверждают нашу основную мысль о боевой, энергической, активной, инициативной струе в личности и деятельности Огарева.

Мрачным и желчным пессимизмом замкнувшейся в себе силы проникнуто стихотворение «1849 год» (лондонское издание, стр. 206). Еще недавно Огарев встретил горячим монологом революционные события 1848 года. Заканчивается он обращением к России и озаглавлен: «Упование. Год 1848». Но упование не исполнилось, новый мир тогда не родился. Велико было разочарование, и вся его горечь сказалась в монологе: «1849 год», но не только не была изжита, а копилась с ходом лет и событий: каким-то погребальным эпилогом звучит стихотворение «Франция», относящееся к последней поре жизни Огарева.

Печатаемое далее стихотворение «Сон» («Полярная звезда», на 1861, издаваемая Искандером и Н. Огаревым. Книжка шестая. Лондон. Трюбнер и К°. 1861, стр. 325) написано в 1854 г. Исполненное силы, оно принадлежит к немногочисленным живописно-пластическим, чисто изобразительным произведениям Огарева и несомненно выделяется среди них чрезвычайно сосредоточенной энергией и движением.

Некоторых особых замечаний требует последнее печатаемое нами стихотворение.

XV

Это стихотворение, озаглавленное: «Студент», помещено в книге «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», изданной Н. П. Драгомановым (Женева, Украинская типография. 1896, стр. 266—267).

Дело в том, что стихотворение первоначально было посвящено памяти Астракова, а потом появилось с посвящением Нечаеву.

В руках М. П. Драгоманова был оригинал стихотворения, на котором рукой Бакунина написано: «Великолепно, а лучше бы, полезнее для дела было бы, если бы, вместо памяти Астракова, ты посвятил это стихотворение Молодому другу Нечаеву».

Во время студенческих волнений в Москве и Петербурге, в 1869 году, — по рассказу М. П. Драгоманова — «о Нечаеве говорили, как о студенте; как доказательство этого, ходило стихотворение Огарева «Студент», напечатанное в Женеве, которое должно было служить знаком полномочия Нечаеву от Огарева, Бакунина и вообще, так сказать, династии Колокола»... Стихотворение с новым посвящением было напечатано в виде отдельных листов, очевидно, с согласия Огарева: мы помним поддержку, оказанную за границей Огаревым Нечаеву и Бакунину; Огарев закрепил ее, идя по обыкновению до конца в своих

решениях. Таким образом несомненно как историческое, так и биографическое значение этого стихотворения.

XVI

Переходя к поэмам Огарева, мы можем повторить сжатое общее определение, данное им проф. Сакулиным в известной книге: «Русская литература и социализм». Это «разные варианты одной и той же трагедии помещика-социалиста николаевских времен» (стр. 172).

Эта трагедия принимает под пером Огарева довольно разнообразные формы. Особо по своему исключительному значению стоит поэма «Юмор», наиболее популярная и, может быть, наиболее своеобразная. Эта поэма-исповедь представляет собой, в сущности, обширный, непринужденно и прихотливо развивающийся монолог, характерно разработанный, как мы пытались показать, в Огаревской лирике и смело примененный к большим формам. В этом отношении к «Юмору» примыкают — каждая, однако, в иной окраске — поэмы «Зимний Путь», «Ночь», «Ноктюрн» и наконец незаконченная «Исповедь лишнего человека» в своих наиболее существенных частях. Здесь, так сказать, элемент личных признаний и высказываний не только перевешивает, но порою почти упраздняет фабулу и сюжетное развитие. По поводу «Зимнего пути» Огарев обронил в письме к Анненкову такое определение: «Тон русский, то-есть, иронически-печальный.

Может, это и старо, а природно». Не то же ли можно сказать, при всем их различии, обо всех поэмах этого рода? В разной степени напряжения и в разных уклонах этот «русский тон», может быть, наиболее для Огарева характерен.

В другой, об'ективной, линии идут стихотворные повести Огарева — типические: «Деревня», «Господин» — и поэмы, как «Радаев». К ним примыкают — в разном роде — «Сны», «Рассказ этапного офицера», «Странник». Характер этого рода — эпический, повествовательный.

Тема, в сущности, одна: социальный вопрос, «трагедия помещика-социалиста». Различна разработка.

И вот — печатаемая ниже поэма «Тюрьма», заканчивающая книгу стихотворений Огарева в лондонском издании (стр. 416—428), стоит как бы между этими двумя основными линиями или группами больших композиций Огарева, в этом ее своеобразие; это об'ективный, спокойный, стройный, складный, отчетливый рассказ; но за его простотой и сдержанностью — кипение горячего личного лиризма, который подкопец с силою вырывается и гармонически приводится к синтезу в эпилоге. Тема все та же.

Как бы в стороне от очерченных нами категорий стоит небольшая поэма Огарева, написанная в шестидесятых годах и оставшаяся без заглавия. Она начинается стихом:

За столом сидел седой дедущка.

По всему своему тону и складу это — неожиданная у Огарева попытка стилизации. В целом здесь довольно удачно схвачена интонация народного стиха. Печатаемая нами поэма под герценовским заглавием «С того берега» (лондонское издание, стр. 401 сл.), формально представляет собой более раннюю и более слабую попытку в том же литературном роде. По существу это еще один опыт публицистической поэзии.

Если в лирике Огарев только одной ее стороной, хотя и чрезвычайно значительной, является поэтом-бойцом, то в эпических своих произведениях он гражданский певец — целиком.

XVII

Мы рассматриваем в одной связи творческую личность Огарева и его гражданскую поэзию, очень ярко представленную как раз стихотворениями, в свое время увидевшими свет вне России. Сделанные попутно замечания, преимущественно касающиеся поэтики, приводят нас к вопросу о месте Огарева — гражданского поэта в истории русской поэзии.

На связь с поэзией декабристов, Одоевского и Рылеева, мы указали. Но если поэзия Рылеева представляет собою ранний отход от только-что слагавшейся Пушкинской традиции (независимость эту, со свойственной ему зоркостью, Пушкин сам оценил и приветствовал), — то в поэзии Одоевского мы видим дальнейшее и самостоятельное продвижение этого отхода. Рылеев, при всем к нему благоговении Огарева,

был ему уже несколько чужд, как недавнее для него и драгоценное, но все же значительно изжитое прошлое. Одоевский до конца оставался для него живым и близким — вследствие не только принципиальной сочувственности, но и личной глубокой близости, и художественной конгенности. Они были работники одного дела и поэты одного устремления. Преемственность в обоих этих планах была Огаревым осуществлена и осознана. Не менее очевидна прямая связь Огарева-поэта с Лермонтовым. Важно здесь напомнить знаменательное тяготение Лермонтова к тому же Одоевскому. Поэзия Лермонтова мощно завершила помянутый отрыв от Пушкинской традиции, Огарев следовал за Одоевским и Лермонтовым.

Огарев сам оставил нам свидетельство своего тяготения к Лермонтову, которое он осознал, как трудно разрываемую связь. В незаконченной статье, озаглавленной: «С утра до ночи», Огарев говорит о своем двойственном отношении к близкому поэту и намечает объяснение отрицательных сторон его творческой личности. Для него вопрос литературной оценки соприкасается с социальным вопросом. Он опять спрашивает себя: «Что же это была за среда, которая сгубила жизнь такого сильного человека, быть может, самого сильного человека в русской поэзии, не исключая Пушкина» — и характеризует эту среду, «выступившую на поприще жизни под гнетом самодержавия», со всем ее строем. «Без сомнения, — заключает он, — Лермонтов не мог сочувствовать такому общественному по-

строению, но ему неоткуда было взять идеала нового общественного порядка, а самому нельзя было выйти из сословной личности, и он поневоле уходил в совершенно бесцельный мистический скептицизм». Жизнь его — «более постоянное страдание, чем действительный труд».

Огарев уже смог «выйти из сословной личности», и нашел «идеал нового общественного порядка» в социализме, а «действительный труд» — в революционной деятельности, одушевлявшей и его поэзию.

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. П. ОГАРЕВА

1849 ГОД

Вы знаете: победа дряхлой власти
Свершилася. Погибло, как мятеж,
Свободы дело, рушилось на части,
И деспотизм помолодел и свеж.
Безропотно, как маленькие дети,
Они свободу отдали тотчас,
В смущении боясь отцовской плети,
И весь восторг, как шалость, в них погас.
Вы знаете: в Европе уже ныне
Не сыщется ни одного угла,
Где б наша жизнь, верна своей святыне,
Светло и мирно кончиться могла.
Вы не зарезались. Еще, быть может,
Жить хочется. Так что ж! Скорей, скорей!
Бегите в степь, где разве вихрь тревожит,
В Америку — туда, где нет людей.
И до седины бесплодно доживая,
С отчаяньем в груди умрете там,
Забыть стараясь и не забывая,
Что все, что в жизни было свято вам,

Мечты свободы, ваши убежденья
Не нужны никому — и все замрут,
Как всякие безумные мученья,
Как всякий мозга бесполезный труд.

С О Н

Когда сменился день молчаньем темной ночи,
Дремота смутная мне налегла на очи,

И вижу я: на площади народ,
И слышен звон с высоких колоколен,
И юный царь торжественно грядет
В порфире и венце, сияющ и доволен;
За ним попы, бояре и полки,
Хвalebный гимн гремит, блестят штыки...

Но мною обуял внезапно гнев священный,
Я бросился к царю и дланью дерзновенной

С его главы сорвал златой венец

И бросил в прах, и растоптал на части.

«Довольно, — я вскричал, — погибни, наконец,
Вся эта ветошь ненавистной власти!»

Пророческая мощь мою вздымала грудь,
И царь бледнел, испуганный и злобный;
В народе гул прошел громоподобный,
И, как морская зыбь, грозы почуя путь,
Растет из тишины, в которой ей дремалось, —
Тысячеглавая толпа заколебалась.

СТУДЕНТ

Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки,
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.
И гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанья,
На народное воззванье,
Кликнуть клич по всем крестьянам
От востока до заката:
Собирайтесь дружным станом,
Станьте смело брат за брата —
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу.
Жизнь он кончил в этом мире —
В снежных каторгах в Сибири,
Но до тла не лицемерен —
Он борьбе остался верен;
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

С ТОГО БЕРЕГА

Молчит. Топор блеснул с размаха,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.

Пушкин. „Полтава“.

На утесе на твердом сижу я и слушаю:
Море темное плещет, колышется;
И хорош его шум и безрадостен,
Не наводит на помыслы светлые.
Погляжу я на берег на западный
И тоска берет, отвращение;
Погляжу я на дальний на восток —
Сердце бьется со страхом и трепетом.
Голова так и поникла на руки,
И я слушаю, слушаю волны да думаю,
А что думаю — говорится вслух,
Не то оно песня, не то сказание.
Погляжу я на берег на западный, —
Вот что было там, что случилось.
Мерзлым утром рано ранехонько
Выступали полки, шли по улице;
Громко конница шла, стуча копытами,
Мерно пехота шла, раз в раз, не сбиваясь;
Гул тяжелый неся от поступи.
Барабаны трещали без умолку,
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел птица кровожадная.

И пришли полки, стали на площадь,
Среди улицы плаха воздвигнута.
За полками народу тьма тьмущая;
Все на плаху глядят и безмолвствуют,
Тишина была страшно гробовая.
Вот на площадь ввели двух колодников,
Что задумали подорвать кесаря;
Не хотели орла кровожадного,
Али ястреба, падалью сытого.
Вот ввели их, двух колодников,
А ввели их со солдатами,
А солдаты с саблями с обнаженными,
Для двух скованных сила грозная!
И пришли они, два колодника,
По морозцу пришли босоногие;
Два поца им лгали милостью божиею.
И пришли они два колодника,
А затылки у них стриженные —
Топору чтоб помехи не было,
И надели на них, на колодников,
Покрывало черное на каждого:
За отцеубийство казнить их велено.
Да отец-то где же, вы скажите мне?
Разве тот отец, кто казнить велит,
Кто казнить велит, а не миловать?
Ах, лжецы вы, лжецы окаянные.
Погляжу на вас, да послушаю, —
Так с отчаянья инда смех берет.
И пошли на плаху колодники,

Шли спокойно, шли безропотно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх, да здравствует наша родина
И другая страна, степь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись».
И попадали обе головы.
И палач склал обе головы в мешок,
А безглавые тела повалил на телегу,
Повезли с позорища к ночлегу.
И безмолвный народ по домам пошел,
Кто понурясь пошел с горькой горестью,
А иной был рад, что бог милость дал
Увидать на веку дело редкое.
Постояли полки — делать нечего,
И пошли опять стройной выстройкой,
Только гул стоял от их поступи.
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел птица кровожадная,
Кровожадная и не новая;
В старые годы ее на знамени
Гордо-лютые носили римляне.
У них был Брут, убил кесаря,
И была ему слава великая.
Да не в прок пошло убийство, —
Сам народ был раб, по душе был раб,
И пошли все кесари, да кесари;
Много крови лилось человеческой...

Сказка старая, не веселая.
Погляжу я на дальний на восток:
Там мое племя живет, племя доброе.
Кесарь хочет ему сам свободу дать,
Хочет сам, да побаивается.
Если кесарь сам нам свободу даст,
Он не кесарь — новый дух святой.
Ну, да как же кесарю нам свободу дать —
У него все ж орел на знамени:
Дух святой являлся в виде голубя,
А орел птица кровожадная.
Верить хочется и не верится,
С думы сердце в груди надрывается.
И все жаль мне этих двух людей,
Что сложили свои головы
Так спокойно и так доблестно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх, да здравствует наша родина
И другая страна, степь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись».
Моя песня — не просто сказание.
Моя песня — надгробное рыдание
По людям, убиенным за родину,
За любовь к воле человеческой,
По мученикам, по праведникам,
Святой вольности угодникам.
Моя песня не просто сказание,
Моя песня — надгробное рыдание:

Из груди она с болью вырвалась,
От глубокой тоски сказалася.
Ты лети ж, моя песня скорбная,
Через море, море шумное,
Долетай до людских ушей,
Пусть их слушают, хоть нехотя.
Кто в душе грешен — тот пусть бесится,
До него мне и дела нет;
А прямая душа — пусть почувствует,
Горькой думою призадумается.
А не тронешь из них ни единого, —
Лучше же, песня ты моя скорбная,
Потони ты в плеске волн морских,
Без следа развейся по ветру.

ТЮРЬМА

(Отрывок из моих воспоминаний).

1

Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова,
И все казалось по силам:
Жизнь мира, будущность людей —
Все было тут... Но в мысли каждой
Свободы благодатной жаждой
Я был проникнут до ногтей;

Враг угнетателей бездарных
И просветителей коварных,
Я верил здравому уму,
Но не завету ничьему,
И было в доблестном безверьи,
В бесстрашьи мысли молодой
Поболее любви живой,
Чем в их холодном лицемерьи.

2

Широкий, плоский двор. Кругом
Забор с решеткою железной.
Середь двора высокий дом,
Где век проводят бесполезно
Полки замученных солдат,
Всю жизнь готовясь на парад.
Покои—точно коридоры—
Темны и длинны; тускло взоры
Кроватей видят два ряда;
На каждой войлок безобразный,
В ночи унылой отдых грязный
За днем бесплодного труда,
А воздух там и сперт и смраден.
Бавало, утром, на заре,
Глядишь в окно на двор широкий,
А уж ученье на дворе,
То-есть, один дурак высокий
В ряд ставит двадцать дураков

И, под рычанье глупых слов,
Шагать их учит, чтоб не смели
Пошевелинуться головой,
Ну, чтобы так ходить умели,
Как и не ходит род людской.
С какою радостью приятной,
С какою злобой непонятной —
Противной даже во враге —
Он бил солдата по ноге!
И я глядел с немой тоскою,
И скорбно думал той порою —
Точь-в-точь, как думаю теперь —
Что человек — ужасный зверь.

3

Но возле комнат этих длинных,
Там было комнат пять, едва
В длину шести-семи аршинных,
А в ширину, быть-может, в два.
В одну из них меня квартальный
Привез в полночи час печальный.
Зачем не днем? Как это знать?
Так... все таинственности ради.
Но никакой расчет пройдох
Не мог застать меня врасплох.
По воле предписаний диких,
В одной из комнат невеликих
Я очутился взаперти.

Кровать да стол, да стул убогий,
Да, чтобы я не мог уйти,
Был часовой поставлен строгий
У двери, запертой на ключ,
Как будто я был так могуч,
Что мог бы вырваться оттуда.
Но тут не все: в двери окно
И часовому знать дано,
Чтоб он смотрел — зачем, не знаю —
Что я в тюрьме предпринимаю,
И он в окно смотрел не раз,
Безумно веруя в приказ.
Но не имели впечатленья
На жизнь мою в тюрьме моей
Все эти мелкие гоненья
Моих невинных палачей.
Мой сторож стал мне добрым другом,
Привычный властвовать испугом,
Перед смотрителем он лгал.
Я все имел, чего желал.
Из угля делал я чернила;
Скажу себе я не в укор:
Писал я, вероятно, вздор;
Но я — поклонник Сен-Симона —
Тогда грядущего закона
От всей душевной полноты
Чертил отважные черты.
Писал — не с тем, чтобы таиться,
Нет! перед подленьким судом

Я вдохновенным языком
Безумно думал обличиться,
Всю мысль был высказать готов
Пред сонмом хитрых пошлецов.
Порой среди ночного бденья,
Глухого полный вдохновенья —
Я в старой библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока —
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.
Мне не забыть во век веков
Безумно-сладостных часов,
Когда царя тупая сила
Вс мне живую жизнь будила.

4

Среди восторга тайных дум
Порой я чувствовал глубоко,
Как тяжело жить одиноко,
И становился я угрюм.
Но мне отрады луч в неволе
Блеснул: в неделю раз, не боле,
Ко мне мой дядя ездить стал;
Его я, вправду, уважал.
Свободы был бы он оратор
В иной, не рабской стороне;
У нас он только был сенатор,
Был враг душевной кривизне,
А все же прожил век бесплодно,
В борьбе средь мелкого труда, —

Как то бывает завсегда
Там, где и мыслить несвободно.
Мир праху твоему, старик!
Успех был мал, а труд велик.
Когда тебе в воспоминанье
Из глаз моих слеза текла,
Нерольной скорби воздаянье,
Поверь — она всегда была
И откровенна, и тепла.

5

Еще я помню посещение...
У нас гусарский полк стоял;
Бывало конное ученье,
И часто средь двора кричал,
Забавно, голосом пискливым,
Красуясь на коне ретивом,
Огромный, толстый генерал.
Раз, недовольный эскадроном,
С отчаянья, почти со стоном
Взглянул он кверху — к небесам,
Но до небес на полдороге,
Взор останавливая строгий
На окнах, — у одной из рам
Он, арестанта наблюдая,
Дивясь, вдруг узнал меня.
С отцом знакомство вспоминая
И долг приличия ценя,

Он тотчас добыл позволение
И посетил мою тюрьму.
Пришлось его благоволение
Прискорбным сердцу моему!
Он был, конечно, малый честный,
По кавалерии известный,
Но долгом счел он мне урок
Прочесть, похожий на упрек.
Бранил и очень оскорблялся —
Зачем в тюрьму я так попался,
Зачем не понял жизни всей,
К чему весь образ мыслей вольный?..
Вот он — знакомств имел довольно,
Знакомства почитал за честь,
А друга не хотел завести;
Зато — как доблести ни малы —
А вышел скоро в генералы,
И если б был я не простак,
И мне бы надо делать так.
Я ж молча думал: «Без участия,
Без чувств, без мыслей и без счастья,
И даже, может, без похвал —
Помрешь ты, глупый генерал!»

6

Приходит (хоть не очень часто)
В воспоминание мое —
Как бабы на веревке длинной

Сушили мокрое белье.
Одна из них мое вниманье
Влекла, не знаю почему:
Волос ли русских колебанье
Пришлось по нраву моему,
Иль глаз лазурных взгляд унылый
Смотревших грустно на меня,
Иль тихий свет улыбки милой,
Как утро радостного дня,—
Но что-то к ней меня манило...
То были ль призраки любви,
Иль просто жар бродил в крови,
Но часто ночью мне мечталось,
Что дверь тихонько отворялась,
И робко шла ко мне она—
Голубоокая жена,
И вдруг бросалась мне на шею.
Я счастлив, ядохнуть не смею...
И увидав, что это сон,
Я был глубоко удручен.
Свечу печально зажигая,
С постели трепетно вставая,
Я строгость мысли призывал
И снова в библии гадал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

7

Но капитан, казарм смотритель,
Порою друг, порой гонитель,

С меня немного взятки взяв,
Вдруг возымел приятный нрав.
К себе стал в гости звать нередко,
Поил недорогим вином;
Его супруга, как наседка,
Сидела с нами вечерком,
Кудахтая о чем-то сложно,
О том, что жить едва возможно,
Все дорого... Чтоб лучше жить,
Мне им бы надо пособить...
Четы уныло гарнизонной
Я не хочу винить никак:
Все ж капитан мой благосклонный
Был малый добрый, но бедняк.
Но боже мой, как скучно было
К нему ходить! И как меня
Его присутствие томило —
Грустней печальнейшего дня,
Как с ними час побыв, ей богу,
Стремился я в свою берлогу,
Чтоб о грядущем, одинок,
Я вновь свободно думать мог.

8

Дни шли за днями следом скучным;
Уже за летом пыльно-душным
Дожди осенние пошли;
Потом, остынув, с неба тучи
Накинули поверх земли

В холодных хлопьях снег сыпучий,
И побелел широкий двор.
Все стало пусто, молчаливо,
И только редко видел взор,
Как офицер неторопливый —
В санях к под'езду сквозь метель
Спешил, закутавшись в шинель.
Терялось время в скуке дикой,
Хоть и трудилась голова...
Но праздник наступал великий —
И вот канун был рождества.
Вдруг входит сторож в час полночный...
«Как? — говорит, — ты, барин мой,
И в праздник будешь так же точно —
Один, как каторжный какой?
Вздор, вздор! Никто мешать не смеет,
Пойдем в казарму... Нипочем
Нам часовой. Пойдем вдвоем
Так просто, смелым бог владеет.
Поверь, в казарме всяк солдат
Тебе, как другу, будет рад».
Вот пропустил, хоть и заметил,
Нас часовой, так раза два
Тревожно кашлянув едва.
Солдат меня в казарме встретил
И обнял, а потом другой.
И сам фельдфебель обнял братски...
Я был им брат, был им родной.
Да, это праздник был солдатский
И праздник истинный был мой!

В казарме длинной колебались
Лучи лампы, чуть блестя,
Со мной солдаты обнимались,
А я — я плакал, как дитя!
Хотя порой фельдфебель грозный
В побоях видит долг серьезный,
Хоть косо смотрит часовой
На узника, боясь побой, —
Но все ж солдат наш и не злобен,
Да и к шпионству неспособен,
Не смотрят братья мужика
На угнетенных свысока.
Пускай француз, поклонник власти,
Народ рабочий рвет на части,
Пусть немец, воин-патриот,
Бездушно душит свой народ
Из чувства дисциплины глупой, —
Но все вы, генералы от —
Чего угодно, — свой расчет
У нас ведете очень тупо:
Рожден солдат наш добряком,
Не встанет брат противу брата,
И не удастся палачом
Вам сделать русского солдата!
Когда ж вернулся я в тюрьму
И мне пришлось быть одному
В ночи безмолвной и унылой —
Не пал я духом. Новой силой
Я был исполнен... Миг святой!
То было тайное сознание,

Что я народу не чужой.—
Что мне тюрьма и что изгнание...
Весь этот пошлый вздор пройдет,
И час придет, и час пробьет—
Мы свергнем рабской жизни муку—
И мне мужик протянет руку.
Вот, что мне надо. Для того
Готов терпеть я без печали
Тюрьму и ссылку в страшной дали,
И все мне это ничего.
Но спать не мог я от волненья
И стал в раздумьи у окна.
Какой мороз и тишина...
Широкий двор средь запустенья
Лежал весь белый, и луна
Над ним светилась бледна.
Могилой веяло... Шагая,
Один метался, как живой,
Себя упорно согревая,
Пред воротами часовой.
Я с тайным чувством содроганья
Смотрел на снег, на лунный свет,—
Как будто нет нам упованья,
Как-будто выхода нам нет.
Мы на людском пиру не гости,
Кровь наша стынет, мерзнут кости.
И гробовая тишина
Судьбою нам обречена.
Не ночь одну в тоске глубокой,
Без сна, глядя на двор широкий,

На мертвый снег, на мертвый свет —
Я думал, что надежды нет.
Но чтоб разрушить власть могилы,
Сбирал все внутренние силы
И в старой библии гадал
И снова жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

9

С тех пор прошло уж много лет.
Царь Николай, как был — в мундире
И не лишенный эполет,
Гниет себе в подземном мире;
Давно мой толстый генерал
Прилично богу дух отдал,
И капитан мой, при кончине,
Чай, в гроб сошел в майорском чине;
А я, выносливый певец,
Тружусь посильно издалека,
Уже без гордости пророка,
Но тот же искренний боец,
Тружусь, чтоб стали, наконец,
И правосудье, и свобода—
Уделом русского народа.

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ

О Библиотеке «ОГОНЕК»

Небольшие, прекрасно изданные и доступные по цене широким кругам читателей, книжки Библиотеки «ОГОНЕК» имеют своей основной целью ознакомление этих широких кругов с текущей художественной литературой. В числе выпущенных ею произведений имеется ряд хороших, ценных вещей.

(„Правда“).

На ряду со многими другими достоинствами, библиотека отличается дешевизной, приятной внешностью, превосходными переводами.

(„На Лит. Посту“).

Надо отдать «ОГОНЬКУ» справедливость: он выпустил, действительно, не мало интересного. Книжки «ОГОНЬКА» изданы хорошо, они дешевы, доступны, они дают в общем неплохой материал для чтения.

(„Правда“).

Некоторые произведения «Библиотеки ОГОНЕК» разбираются в школах 2-й ступени, как пособие для тематических сочинений.

(„Рабочий и Пахарь“, Рыбинск).

Включение издательством «ОГОНЕК» в свою общедоступную Библиотеку книжек историко-литературного характера в сопровождении надлежащего комментария и вступительных статей нужно,

конечно, весьма одобрить. Очень небесполезные специалистам-литературоведам, они будут с интересом и пользой прочтены и широкой читательской массой.

(„Красная Новь“).

Библиотека «ОГОНЕК» является одной из массовых, доступных библиотек. Ее белые, опрятно изданные книжечки пестрят везде и всюду. Каждая из этих книжек представляет известный интерес.

Основная масса книжек составляется из лучших произведений иностранной литературы и современной как пролетарской, так и попутнической. Нашему молодому читателю — комсомольцу, учащемуся, рабочему подростку — следует ознакомиться с этими книжками, в них они найдут много интересного материала для своего развития.

(„Молодой Ленинец“).

Библиотека «ОГОНЕК» является одной из попыток дать серию книжек «большой публике». Беллетристика, поэзия, критика, политика, библиография — вот покуда круг, охватываемый Библиотекой; если к этому прибавить, что главной чертой всего вносимого в Библиотеку материала является современность, то будет понятно, что Библиотека «ОГОНЕК» может сыграть большую роль и воспитать не один десяток читателей.

(„Октябрь“).

Ряд книжек Библиотеки „ОГОНЕК“ допущен Научно-Педагогической Секцией ГУС'а в школьные библиотеки.



и БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА

на САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ в СССР ЕЖЕ-НЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л



с ПРИЛОЖЕНИЕМ
БИБЛИОТЕКИ „ОГОНЕК“
(по 2 книжки в неделю)

1. Библиотека „Огонек“ — САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ из малых библиотек, издающихся в СССР.
2. Библиотека „Огонек“ — благодаря своей цене доступна РАБОЧЕМУ, КРЕСТЬЯНИНУ и УЧАЩЕМУСЯ.
3. Библиотекой „Огонек“ изданы книжки ВСЕХ ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
4. Библиотекой „Огонек“ изданы книжки наиболее близких СССР по духу и ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ в ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ СОВРЕМЕННИКОВ ЗАПАДА.
5. Библиотекой „Огонек“ издаются в сокращенных переводах МИРОВЫЕ КЛАССИКИ, начиная с Гомера.
6. Библиотекой „Огонек“ издаются всевозможные ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, неизданные и вновь найденные произведения, документы, мемуары.
7. Библиотекой „Огонек“ издаются ПУТЕШЕСТВИЯ современных советских и иностранных писателей.
8. Библиотекой „Огонек“ издаются книжки НАЧИНАЮЩИХ советских писателей.
9. Библиотекой „Огонек“ издана серия ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ лучших советских и иностранных писателей.
10. Библиотекой „Огонек“ ИЗДАНО 9 МИЛЛИОНОВ КНИЖЕК, и тираж непрерывно растет.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

- „Огонек“ с Библиотекой „Огонек“: с 1-го июля до конца года (6 мес.) — 7 р.; 3 мес. — 3 р. 75 к.; 1 мес. — 1 р. 40 к.
„Огонек“ без Библиотеки „Огонек“: с 1-го июля до конца года (6 мес.) — 2 р. 40 к.; 3 мес. — 1 р. 20 к.; 1 мес. — 40 к.

Переводы адресовать: Акц. Изд. О-ву „ОГОНЕК“

Москва 6, Страстной бульвар, 11

Подписка также принимается повсеместно на почте, письмоносцах, у контрагентов, в отделениях „Правды“ и Известий ЦИК“ и во всех железнодорожных и городских киосках Контрагентства Печати.

Цена 15 коп.

27186

1953

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

принимается только вместе с журналом „ОГОНЕК“.

Еженедельный иллюстрированный журнал „ОГОНЕК“, с приложением
ДВУХ книжек Библиотеки „ОГОНЕК“ еженедельно к каждому номеру

1 мес.—1 р. 40 к., 3 мес.—3 р. 75 к.,
6 мес.—7 р., 1 год—13 р. 50 к.

А ДРЕ С:

Москва 6, Страстной бульвар, д. 11, телефон 5-51-69.

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“.